

Е. И. Романова

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

**«РУССКИЙ МИР» В ПАРИЖЕ: ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
В РОМАНЕ Б. ПОПЛАВСКОГО «АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ»**

Роман Б. Поплавского «Аполлон Безобразов» рассмотрен с точки зрения значимого для национальной самоидентификации противопоставления России и Запада, осложненного ситуацией эмиграции. Для писателя ревизия идеи «русского мира» оказалась отправной точкой попытки выработки её новых смыслов, представленных в прямой оппозиции мертвого рационального европейского порядка

© Е. И. Романова, 2016

и русской разрушительной стихийности. Роман выстроен как неомифологический текст, где реальность прорастает в миф; мифом, текстом определяется и движется. Отсюда и значимость литературных аллюзий, культурных реминисценций, прямых узнаваемых цитат, пронизывающих ткань повествования и становящихся кодами русского эмигрантского бытия в Париже.

Ключевые слова: «русская идея», противопоставление Востока и Запада, неомифологический текст, цитатность, литературные аллюзии.

Роман Б. Поплавського «Аполлон Безобразов» розглянуто з точки зору значущого для національної самоідентифікації зіставлення Росії та Заходу. Для письменника ревізія ідеї «російського світу» виявилася відправною точкою спроби вироблення її нових сенсів, збудованих в прямій опозиції мертвого раціонального європейського порядку і російської руйнівної стихійності. Роман побудовано як неоміфологічний текст, в якому реальність проростає в миф; мифом, текстом визначається і розгортається. Звідси і значущість літературних аллюзій, культурних ремінісценцій, прямих цитат, що пронизують тканину оповідання і стають кодами російського емігрантського буття в Парижі.

Ключові слова: протиставлення Сходу і Заходу, неоміфологічний текст, цитатність, літературні аллюзії.

Roman B. Poplavsky “Apollo Bezobrazov” is considered from the point of importance for the national identity of the opposition of Russia and the West, that is complicated by situation of emigration. Revision of the idea of the “Russian world” was the starting point of his efforts to develop new meanings presented by direct contradiction of a lifeless rational European order and Russian devastating spontaneity. The novel is built as a neo-mythological text, where the reality grows into a myth. Hence the significance of literary allusions, cultural reminiscences, direct recognizable quotes going through the fabric of narrative and becoming the codes of Russian emigrant life in Paris.

The dispute between the two cultures – European and Russian – pronouncedly literary: snorter of classical Russian literature, especially of Gogol and Dostoevsky, is raging in epigraphs to the chapters mostly taken from European sources.

Keywords: “Russian idea”, the opposition between East and West, myth, citationality, literary allusions.

Б. Поплавский принадлежал к т.н. «незамеченному поколению» [2] литераторов младшей волны русской эмиграции, волны, встреченной на Западе уже прохладно и оказавшейся в своей основной части в очень затруднительном положении – и экономическом, и социальном, и ментальном. «Страшные события, которых нынешние литературные поколения были свидетелями и участниками, разрушили все те гармонические схемы, которые были так важны, все эти “мировоззрения”, “миросозерцания”, “мироощущения”, и нанесли им непоправимый удар. И то, в чем были уверены предыдущие поколения и что не могло вызывать никаких сомнений, – сметено как будто бы окончательно», – свидетельствовал Г. Газданов [3, с. 317]. И если старшее поколение русской эмиграции могло еще с пафосом провозглашать: «Мы не в изгнании, мы в посланьи», имея в виду ту особую мессианскую роль русской культуры, то Б. Поплавский уже почти с ненавистью говорит о «клюквенном мифе старшей литературы» [8, с. 23].

Целью статьи является анализ специфического воплощения идеологически значимого для национальной самоідентифікації Росії противопоставления себя Западу в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов».

Перефразируя известное замечание Ж.-П. Сартра «Бог умер, но человек не стал от этого атеистом» [13, с.12], скажем: для Б. Поплавского смерть прежней идеи «русского мира» оказалась отправной точкой попытки выработки новой религии, новых смыслов. «Аполлон Безобразов» выстраивается как «неомифологический роман» [7], где реальность прорастает в миф; мифом, текстом определяется и движется. Отсюда и значимость литературных аллюзий, культурных реми-

нисценций, прямых узнаваемых цитат, пронизывающих ткань повествования и становящихся кодами русского эмигрантского бытия в Париже.

В статье «Об осуждении и антисоциальности» Поплавский напишет: «Литература возможна для нас сейчас лишь как род аскезы и духовиденья, исповеди и суда» [9, с. 234]. И мотив суда, как вариант темы Всемирного потопа, обрамляет романное повествование. Сначала он чуть слышен в прелестной импрессионистической зарисовке парижского дождя: «Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел.

Казалось, он идет над всем миром ... Периоды его учащения равномерно повторялись, он длился и пребывал, и казался самой его тканью» [10, с.15], затем поддерживается исподволь возникшим образом русской эмиграции как Ноева ковчега, и в самом конце повествования сопрягается с пронзительным ощущением «холодной судороги ошибки, какой-то огромной метафизической измены» [10, с. 305], непереносимым ощущением богооставленности грешного, но взыскающего к жалости и милосердию русского человека.

Личная судьба в разломе цивилизаций определяет главный нерв романа. «Трудно писать о нас самих, – говорил Поплавский, – и вместе с тем мы сами – это единственная тема, реальность, которую знаешь» [11, с. 205], а вместе с этим знанием приходит «новое совместное открытие, касательно метафизики “темной русской личности”» [11, с. 207]. Несмотря на то, что в заглавие романа автор выносит имя Аполлона Безобразова, главным героем оказывается автобиографический герой – русский эмигрант Васенька.

Путь, распутство и распутье определяют внутреннюю структуру романного сюжета. Прогулки Васеньки с полуденным демоном Аполлоном Безобразовым становятся своеобразной ревизией западного мира. В беседах рассказчика с Аполлоном о природе Христа выявляется главный конфликт поэта – его «роман с Богом», – справедливо отмечает Е. Менегальдо [6].

Автор последовательно фиксирует психологические подвижки сознания своего alterego: «Я недавно приехал и только что расстался с семьей. Я *сутулился*, и *вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности* [здесь и далее выделено мной. – Е.Р.], которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь. ... Я странствовал по городу и по знакомым. ... *с унижительной вежливостью* поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры. ... Я редко мылся и любил спать, не раздеваясь... (почти чеховская цитата. – Е. Р.), ...долго и сокрушенно рассматривая подошвы своих сапог, выворачивая воротничок наизнанку, и тщательно расчесывал пробор – особое кокетство нищих, ...*крадучись*, я выходил на улицу... *жуликовато краснел*, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, *пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то злоеце-христианской гордостью* начинал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге. Я ... *смотрел на проходящих отсутствующим и сонливым взглядом, похожим на превосходство*. Я постепенно начинал находить, что эта *безнадежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие* [10, с. 25–27].

Автобиографическая безжалостность самоописания оборачивается выходом в бытийность: «Но что, собственно, произошло в метафизическом плане оттого, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы ... а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный?», а затем и на иной религиозный уровень – «разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он

был бы лысоват и что под ногтями у него были бы черные каемки?» [10, с. 30]. И сам Васенька вдруг оказывается тем самым растерявшимся русским Христом-эмигрантом, утратившим веру, «Волоча ноги, я ушел от родных; волоча мысли, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы; волоча дни, я дожил до 24 лет» [10, с. 30].

Автор не случайно обозначает дату первого знакомства Васеньки и Аполлона Безобразова – 14 июля – День взятия Бастилии, положившего начало провозглашенным западным ценностям: свободы, равенства, братства. Для Б. Поплавского европейское стремление к порядку (тщательно вымытыми тротуарами с красивыми стандартизованными плакатами из жести с надписями «Пиво» или «Не расклеивать», «Мочиться запрещается») становится символом невыносимой самодовольной добродетели мещанства, выхолостившего великие идеи французской революции. Позиция «бесстыдной нищеты» автобиографического героя парадоксальным образом оказывается формой гордыни, максимализма отторжения комфорта в распадающемся мире. С почти комической задиристой одержимостью Б. Поплавский упрекает своих русских современников, не поменявших прежние барские привычки: «Я часто думаю, что за чудо: государства погибают, революции сотрясают мир, а Николай Оцуп продолжает ходить в котиковой шубе, как будто ничего не случилось. Несомненно, Оцуп попадет за это в ад» [8, с. 24]. В заметках «В поисках потерянного молодого человека» Поплавский выдвигает тезис о «Бесстыдстве как единственном способе <выражения?> полного человека» [12, с. 144], и герои его романа демонстративно, с внутренней убежденностью в своем личном праве нарушают любые европейские нормы: покидают гостиницу, не заплатив; уходя из приютившего их заброшенного замка, поджигают брошенные хозяевами вещи; Аполлон Безобразов «просто любил жечь книги, особенно старинные, в дорогих кожаных переплетах, долго сопротивлявшиеся огню. Это было у него родом жертвоприношения» [10, с. 330].

Спор двух культур – европейской и русской – подчеркнуто литературен: в обрамлении эпиграфов к главам, преимущественно взятым из европейских источников (А. Рембо, Ж. К. Гюисманса, Ж. Лафорга, Э. По, У. Блейка) [См.: 4; 5], неистовствует стихия классической русской словесности.

Особая русская оптика структурирует образ Парижа и парижан. Описание города отчетливо ориентировано на Гоголя. Парижские улицы явственно напоминают Невский проспект. И в Париже, как и в Петербурге, перед глазами читателя последовательно разворачивается городская жизнь: «Европа. Зимой те, кто спали, прикорнувшись в подъездах и на ступеньках метро, у самой железной решетки, откуда дышит теплый вонючий воздух подземелья, почерневшие и перекошенные, как-то боком входят в первые кафе или спускаются, наконец, в подземную дорогу, где долго они будут, качая головами, задремав в тепле, кружиться под землею... Наконец, долгое время спустя, начинается утро служащих и школьников, и владельцев маленьких магазинов и еще, много времени спустя, утро хорошо одетых, лысеющих, считающих, пишущих, богохульствующих, одетых в фильдекосовые носки, рубашки из искусственного шелка, ботинки американского фасона, костюмы английской кройки и добродетельные мысли ужасающих, смердящих, калообразных, утро людей, имеющих деньги. Людей, считающих себя правыми» [10, с. 47].

В романе Поплавского явственно слышны гоголевские ноты мотива низведения целостности живых людей к их репрезентативной неживой части: «И вдруг улица опять опустела, и опять исчезли бесчисленные жирные зады женщин, нарочно колеблемые при ходьбе, а также руки, носы, подмышечные части, напудренные и блестящие кожные покровы, груди различных величин и крепости, брюки и бесчисленные щеголеватые ботинки самых невероятных цветов... [10, с. 53].

Герои романа живут в реальности, изображаемой писателем с предельной, выпуклой, порой шокирующей натуралистичностью, но через нее постоянно просвечивает иная реальность – трансцендентного предопределения. Описание Поплавского безжалостнее, нежели у Гоголя, саркастичнее и дополнено отсветом видений дантовского Ада. Городские персонажи у него – «убийцы Христа, язвы и плесень Апокалипсиса» [10, с. 63], и гоголевский мотив утрированно повторится в страшном сне Терезы о расчлененных, деформированных человеческих телах, вовлеченных в переваривающее чрево: «Это желудок Адама». ... Раздавленные, смятые и разъеденные, но явственно еще живые и даже одетые люди текли равномерно, один, соединенный с другим, как смытый водой рисунок, скошенный и слезающий, ... У одного лицо было совершенно на боку, у другого одна нога была как будто нормальна, но зато другая была чудовищно вытянута и, как длинная черная макарона, длилась еще и за поворотом пути. И все это, смешанное, спутанное – и лица, и платья, какие-то даже мундиры и неправдоподобные короткие пальто, – ползло, равномерно движимое неторопливыми глотательными пульсациями слизистых стенок» [10, с. 347].

Парижские прогулки героев романа часто заканчивались трапезой на парижском кладбище. И здесь со всей очевидностью актуализируется отсылка к Достоевскому, часто воспринимаемая как общее место в споре о сущности противопоставления Запада и России. Например, у А. Введенского, задающего вопросом: «может ли западная действительность, отлившаяся в формы устойчивые, определенные, ... быть признана идеальным строем жизни? Достаточно ли широк, всеобъемлющ, универсален заложенный в основу ее принцип? ... соответствует ли тип европейца идеалу человека? Удовлетворяет ли западная действительность тем чаяниям, идеальным стремлениям и заветным мечтам, которыми живет и дышит человек русский? Словом, наши русские идеалы и западная действительность в одном ли лежат направлении? Может быть, – размышляет он в 1880 году, – запад и действительно «гниет», может быть даже он представляет уже сплошное кладбище, но это, выражаясь словами одного из героев Достоевского, – «дорогое кладбище, дорогие покойники, над которыми каждый камень гласит о горячей минувшей жизни, о страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу, в свою науку». С титаническим размахом силы, с прометеевскою гордою верою в себя, лучшие... люди запада упорно стремились зажечь на земле небесный огонь полной истины, полного довольства, полного счастья. Но при всем том, в этих прометеевских замыслах все же есть одна роковая ошибка, которая состоит именно в том, что они – замыслы прометеевские, – гордые, самонадеянные; что те люди, которые живут и жили, которые стремились и стремятся к их осуществлению, забыли ... что искомый ими небесный огонь вразумляющей истины и исцеляющего от всех земных недугов блага уже давно затеплен на нем рукою более сильною, чем человеческая, и горит светло и ярко, распространяя около себя действительную теплоту и жизнь, а не обманчивое сияние, которым сияет гордая культура запада, – горит и светит в странах, которые еще далеко не могут похвалиться своею культурою, но которые за то имеют свыше, как дар милости, то, чего не может дать никакая культура...» [2, с. 8].

Европейской культуре «благополучия и бездуховности» в романе противопоставляется безудержное русское буйство. Глава «Бал» отдана описанию русской попойки: гуляет «Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шиферская, зарубежная... Ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицерская, анархическо-церковная» [10, с. 187]. И в противовес «Либерте, фратерните, карт д'идантите ... похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда» [10, с. 287]. Зарисовки с натуры предельно подчеркнута физиологичны: вот появляются первые гости бала, «некоторые из коих

всегда умудряются с изумительной, прямо-таки баснословной быстротою напиться в самом начале представления и являть красную веселую рожу еще посреди всеобщего напускного благообразия» [10, с. 191], и уже кто-то «Спеша вернуться куда-то, где что-то продолжается, неловко вынимает мочеточник, но никак не может нацелиться струею в почерневшую чашку, и жидкость переменчивым плеском падает вокруг» [10, с. 193]. Судорожное безобразное веселье бала писатель сопрягает со столь же безудержным отчаянием пирующих. С оправдательной ностальгией по утраченной родине в романе звучит музыка верлибра: «Пей, братец! Вино напомнит тебе о прошедших днях. Ты родину вспомнишь и шелест прозрачной березы. ... Пусть музыка плачет и время несется над нами, ты все потерял, ты простил и уехал от всех» [10, с. 196].

Писатель отчаянно верует, что русская безудержная искренность, с кровью утраченная в России, обязана возродиться в Париже, вернуть ему новые живые смыслы: «Париж, Париж, асфальтовая Россия. Эмигрант – Адам, эмиграция – тьма внешняя. Нет, эмиграция – Ноев ковчег» [10, с. 189]. Почти любясь, как любовался на пьяных русских мужиков Некрасов, он пропоет гимн разудалой бесшабашности «бала»: «шуми, граммофон, пой, пташечка, пой, и лейся-лейся, доброе вино, и только не деритесь (хотя и подражаться можно, и промеж глаз дать или получить, куда лучше, чем вежливичать и таить дурное); подеретесь, потом и поцелуетесь, недаром Иисус воду в вино обращал (одобрял пианство)» [10, с. 195]. Символично, что именно в это русское пьянство-радение, скользящее по грани религиозного экстаза, спускается смертельно пьяная, дошедшая до предела опустошения, до края крика, до границы мучительной, как нож, веселости святая – Вера, Сольвейг, Тереза – звезда преисподней, крестящая камушки, избравшая свое служение не ангелам, ибо ангелы и так счастливы, а зверям «потому что их мухи кусают» [10, с. 287].

Иррациональный парадокс Гоголя, позволившего вырваться из преисподней «Мертвых душ» русской птице-тройке, повторит и Поплавский. Из мерзости запустения русской попойки, из нравственного падения безудержного, отчаянного распутства бала вырывается на парижские бульвары эмигрантская тройка. И сторонятся народы, сторонятся парижане: «крути, Гаврила, лети кибитка, скачи напропалую, незабвенная парижская Россия.

И вот уже набережные миновали, вырвались на бульвары, мгновенным зигзагом миновали грузовик с морковью, пронеслись колесом по тротуару мимо растерявшегося велосипедиста и под адский свист, не останавливаясь, а заставив их в ужасе шарахнуться прочь...» [10, с. 205].

Герой Поплавского мечется в замкнутом кругу «русского мира» – разрушительного, взыскующего и отчаянно зывающего к миру: «полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит»: «Ибо мы сами знаем, как черны мы, как низки и слабы мы в нищем хмелю, но мы – все та же Россия, Россия-дева, Россия-яблочко, Россия-молодость, Россия-весна. Это мы останемся, это мы вернемся, мы, нищие, молодые, добродушные, беззлобные братья собакам и машинам, друзья книг, и бульварных деревьев, и алых городских рассветов, только одним бездомным и ведомых» [10, с. 206].

Сегодня, когда буйство «русского мира» так страшно утверждает себя в своем извечном противостоянии Западу, можно ли с жертвенным восторгом ждать, как «хрустнет наш скелет в тяжелых нежных его лапах», или же понять его, лишит мнимой обаятельности ту силу, которая в своей дьяволически-детской стихийной жестокости стремится разломать цивилизацию как ненужную ему игрушку.

Библиографические ссылки

1. *Варшавский В. С.* Незамеченное поколение / В. С. Варшавский. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1956. – 388 с.

2. *Введенский, А. И.* Западная действительность и русские идеалы: Письма из-за границы / А. И. Введенский. – Изд. 2-е, репр. изд. – М. : URSS : ЛЕНАНД, 2015. – 208 с.

3. *Газданов Г.* О молодой эмигрантской литературе / Г. Газданов // Вопросы литературы. – 1993. – № 3. – С. 305–316.

4. *Дмитрова А. В.* Мотивная структура дилогии Бориса Поплавского «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес»: дис. на соиск. уч. степ. канд. фил. наук / А. В. Дмитрова. – Ростов-на-Дону, 2013. – 166 с.

5. *Елисеенко А. П.* «Чужое слово» в романе «Аполлон Безобразов»: ибсеновский слой / А. П. Елисеенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені І. Огієнка. – Філологічні науки. – Вип. 33. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 104–107.

6. *Менегальдо Е.* «Двуликий роман». Проза Бориса Поплавского / Е. Менегальдо // Новый журнал. Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. – № 262. – 2011.

7. *Миц З. Г.* О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов / З. Г. Миц // Блоковский сборник III. Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. – Тарту, 1979. – С. 76–120.

8. *Поплавский Б.* Доклады. Наброски выступлений / Б. Поплавский // Новый журнал. Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. – № 253. – 2008. – С. 15–25.

9. *Поплавский Б.* Об осуждении и антисоциальности / Поплавский Б. Ю. Собрание сочинений в 3-х т. – Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / Б. Ю. Поплавский ; сост., коммент., подг. текста А. Богословского, Е. Менегальдо. – М. : Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. – С. 230–235.

10. *Поплавский Б. Ю.* Аполлон Безобразов // Собрание сочинений в 3-х т. – Т. 2: Аполлон Безобразов. Домой с небес : романы / Б. Ю. Поплавский ; подг. текста, коммент. А. Богословского, Э. Менегальдо. – М. : Согласие, 2000. – 464 с.

11. *Поплавский Б. Ю.* Вокруг «Чисел» / Б. Ю. Поплавский // Числа. – 1933. – № 9. – С. 204–209.

12. *Поплавский Б.* В поисках потерянного молодого человека // Поплавский Б. Ю. Собрание сочинений в 3-х т. – Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / Б. Ю. Поплавский ; сост., коммент., подг. текста А. Богословского, Е. Менегальдо. – М. : Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. – С. 144–147.

13. *Сартр Ж.-П.* Один новый мистик / Ж.-П. Сартр // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 11–44.